

Виктор Астафьев

Пролетный гусь



Часть сборника
О любви (сборник)



Виктор Астафьев

Пролетный гусь

«ЭКСМО»

2000

Астафьев В. П.

Пролетный гусь / В. П. Астафьев — «Эксмо», 2000

«Растерзанный усталостью, мокрый до нитки, повесив ружье на плечи и положив на него руки, плелся к городу Данила Солодовников. Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и даже не видел ни одной птицы, годной в варево. Холодный ветер нанес ворохи серых, в середине чернью клубящихся туч и с раннего утра попеременно хлестал по земле то дождем, то липким снегом».

© Астафьев В. П., 2000

© Эксмо, 2000

Содержание

* * *	5
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Виктор Астафьев

Пролетный гусь

* * *

Растерзанный усталостью, мокрый до нитки, повесив ружье на плечи и положив на него руки, плелся к городу Данила Солодовников. Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и даже не видел ни одной птицы, годной в варево. Холодный ветер нанес ворохи серых, в середине чернью клубящихся туч и с раннего утра попеременно хлестал по земле то дождем, то липким снегом. Все живое умело попряталось, куда могло, и сидело в теплых лесных крепях под сухими пихтами да елями, под скирдами, в норах, в гнездах, и один, казалось, Данила, один только он бродил по этому с места сдвинувшемуся, погруженному в морок, в мокреть и тучи миру.

На полустанке Акбары он мог вспрыгнуть в грузовой состав, что делал не раз и не два, возвращаясь с охоты, поскорее вернуться домой, обсушиться, отогреться и уснуть, но он не мог, права не имел, возвращаться домой с пустыми руками.

В маленькой однооконной избушке, по-амбарному крытой тесаным желобом, его ждали жена и сынишка Арканя, этакое послевоенное тощенькое создание с доверительно распахнутыми голубенькими глазками, с жилками, синеющими на виске и на горлышке. Ему шел четвертый год, и он по своему возрасту был хорошо развит, говорил почти чисто и забавно, сообразилка его крепко работала хоть в играх, хоть в запоминании песен, стишков или там всяких посказулук. Но был Арканя болезненно плаксив, часто болел насморком, у него напересчет выступали по бокам ребрышки, выглядел он года на два с половиной.

А все от неустройства, от нервности, от слабого питания матери. И где им что было взять? Застрали вот в городишке под названием Чуфырино и бедуют тут, зубарики играют, как говорил с невеселой усмешкой Данила.

Свело их, Марину и Данилу, в долгом послевоенном пути прямо на железной дороге. Данила ехал спецэшелонем из Пруссии в Россию и кое-что прихватил с собой. Не то чтобы много и богато, но на первый случай хватило бы барахлишка, да глухой ночью загрохотало под колесами поезда, качнуло вагон, и вместе со всеми на нарах спящими вояками Данила обрушился вниз, больно обо что-то ударился. «Банде-ээра-аа!» – завопил кто-то в темноте, и безоружное воинство брызнуло кто куда.

Днем на станции их собирали, подсчитывали и, распределив по вагонам вослед идущего эшелона, отправили дальше. Данила лишился всего своего имущества, даже котелка, лишился и пары белья, и новой пары портянок, выданной при демобилизации. Веселая братва из другого эшелона в беде не оставила, ел Данила из котелка соседа по нарам, шинеленку мало ношенную ему уделили, шапчонку с серым мехом и потной подкладкой подбросили. Ну и ладно, и добро. Едут солдатики по домам, ноги свесив из открытой теплушки, песни орут, у кого есть, тот выпивает, кто умеет на гармошке играть, тот играет. Солдатики-то братики по домам едут, а Даниле, в сущности, и ехать-то некуда. Он рос в семье ссыльного дяди, который, по сообщению его жены Дарьи Фоминичны, погиб на войне, ребятишек, а их накопилось куча, пришлось горемычной женщине сдавать в детдом, сама же она, видать, тоже сгинула в военной коловерти иль переехала куда. Сколько ей ни писал Данила, ответа не было. И когда спутники спрашивали Данилу, куда он едет и где его высадка, он, придавая голосу беспечность, кричал:

– В город Чуфырино!

Почему вошло в голову это название? Где он его прочел иль услышал? – не мог Данила впоследствии ни себе, ни другим людям объяснить. Просто было радостно на душе от Победы,

просто хотелось орать, плясать, всех обнимать и всякие шутки, веселые, каламбурные слова говорить. А чем Чуфырино не каламбур? Чуфырино, Пупырино, Колтырино, Колупаево – красота!

* * *

Скоро выяснилось, никакие бандеровцы на эшелон не нападали. Откуда они в Белоруссии-то возьмутся? Просто на второпях восстановленной, кое-как сшитой, на старых, гнилых шпалах крепленной линии произошла очередная авария, которую и крушением-то не назовешь. Сошли и опрокинулись под откос последние вагоны, разорвало состав на части, и вот паника, с войны не забытая, сделала свое дело, разбежались по ближним болотистым лесам солдатики. Многие, в их числе и Данила Солодовников, всякого имущества лишились. Ну, дуром нажито, по дурости бывает и прожито. Вот котелок жалко, вещь необходимая всюду, в пути в особенности. Эксплуатацию котелка соседа по нарам надо было как-то обрабатывать. И Данила бегал с солдатской посудинкой за кипятком, варево чаще всего разносили по вагонам в котлах и ведрах, тут же разливали, кашу иль картошку толченую накладывали всяк в свой котелок сколь душе угодно или сколько в брюхо войдет.

Народ ехал в этом счастливом эшелоне богатый, с имуществом и деньжонками. Кутили победители напропалую, казенную еду почти не потребляли, жрали сало, масло, молоко, фрукт прошлогодний выменивали. Долго ехали по разбитой, только-только войну перемогшей земле. На станциях вдоль эшелона, всяк со своей посудинкой, выстраивались оборванные ребятишки, молча, протянув руку, стояли старики, кособочась, на тележках к линии выкатывались инвалиды. Много было инвалидов, и сама сплошь поувеченная земля выглядела инвалидно.

За Минском уже, на шибко разбитой станции, стояли долго и не ведали, когда двинутся дальше. Станция забита эшелонами и тучей народу. На кое-как прибранном перроне, издолбленном взрывами, вечером затеялись танцы под аккордеон, любовь недолговечная закрутилась, мимолетные страсти вспыхнули. Данила на танцы был не горазд, но, влекомый общей волной возбуждения и веселья, тоже приволокся на перрон. Днем он приметил возле водокачки худенькую, коротко стриженную девушку, сидящую на чемодане, спиной прислонившуюся к обогретой стене кубового помещения. Хотел заговорить с ней, но о чем заговорить, не знал и оттого не заговорил. И сейчас вот солдатик тайно надеялся, что встретит ту девушку на перроне и уж непременно с нею заговорит, хотя опять же заговорит ли, решится ли, положительно сказать себе не мог. Если же она танцует с кем-то, приглашена кем-то, тогда уж, само собой, разговор отпадает и надеяться на знакомство нечего. Что-то было в ней, в той опрятно одетой военной девушке, такое, что заранее исключало верные солдатские приемы и подходы на знакомство вроде: «Который счас час?», «Какое сегодня число?» – и тем более: «Девушка, что-то назад вас выпало и пар идет».

Серьезная была девушка, строгая, хорошо, видать, хорошими родителями воспитанная.

Сколь ни крутился Данила на перроне, как ни напрягал зрение, увидеть ожидаемую девушку не мог. А веселье под тремя тусклыми перронными фонарями набирало силу. К аккордеону подсоединились баян и барабан, музыка сделалась объемистой, громче, смех и даже хохот катались по перрону, сапоги на крошке, которой были засыпаны воронки, все гуще, все разгоряченной наговаривали – ша-ша-ша, ша-ша-ша, шурх, шурх, шурх-ша-ша-гаа.

Иные пары уж и в сторону сваливали. Девушки утомленно обмахивались платочками, взвизгивали в отдалении. И вот на перроне запели многоголосо и сперва разрозненно, но с каждой минутой все слаженней и дружнее. Защемило, сжало сердце, пели-то недавнее, выстрадавшее, знакомое. Данила петь умел, иной раз громко пел и переживательно, однако к хору не присоединился, как-то особенно остро почувствовав одиночество свое и душевную покинутость.

Хорошо им, этим певцам и танцорам, они домой едут, а он, он-то куда? У него нет никакого дома на земле. Но углубляться в эти мысли Данила себе не позволял, как-нибудь все образуется само собой, в большой такой стране найдется и ему уголочек. Он привык уже в армии, чтоб за него думали, куда-то вели, направляли, определяли, так не может быть, чтоб сейчас вот взяли и кинули его одного на произвол судьбы.

А ноги меж тем сами вели его к водокачке, и не вели – прямо так вот и тащили. И только он завернул за округлость кубового помещения, сразу и увидел ее – сердце его радостно вздрогнуло. Там, возле кубовой, был и еще народ, в немалом числе был, но он лишь ее и увидел.

– Здравствуйте, девушка.

– Здравствуйте, здравствуйте, – ответила девушка, выпрастываясь из высоко поднятой шинели. – Вы кто будете?

– Да никто, днем приходил за кипятком и вас заприметил.

– Заприметил, значит?

– Заприметил.

– А ты с какого эшелона и как тебя зовут? – решительно перешла она на «ты».

И он чистосердечно все ей рассказал: и про эшелон, про то, что ехал он в другом эшелоне, да беда приключилась, и что зовут его Данилой, фамилия у него будет Солодовников.

– А меня зовут Марина, и сижу я здесь четвертые сутки.

– Вот как. Чего же делать-то?

– А вот чего. Ты возьмешь меня с собою. У вас все же эшелон есть, и он поздно или рано все равно куда-то пойдет.

– Конечно, поздно или рано. Только как быть-то, одна солдатня в вагоне, да и в эшелоне почти во всем.

– Скажешь, я твоя родственница, двоюродная сестра, ты меня нечаянно встретил.

– Ну-у, коли так, оно конечно.

– А раз конечно, бери чемодан – и айда к тебе домой.

– Ну-у, айда так айда.

Он взял чемодан, Марина надела рюкзакишко, из которого, догадался Данила, она уже почти выела харчишки.

В вагоне почти не было народу, все на танцах, на гулянье. Дежурный по вагону, сидя спавший возле печки, забитой жарко топившимся углем, вскинул голову, точно воробей на зерне, ничего не разобрал со сна: вагон из-за безлюдья освещался только от печки, – и снова погрузился в сладкую дрему.

Данила подтащил Марину за рукав к нарам, забросил чемодан наверх и прошептал, подсаживая ее:

– Лезь, мое место крайнее, возле окна, с краю и лепись.

Он еще деликатно потоптался внизу, считая, что женщине перед сном надо чего-либо с собой сделать, но чего точно, не ведал. А когда прыжком вбросил себя наверх и нащупал спутницу, она уже не шевелилась, она спала, не сняв шинели. Он осторожно придвинулся к ней, накрыл своей шинелью сверху ее и себя и успокоенно, даже жалостливо подумал: «Устала, бедная», – и сам уснул. Ночью часто ощупывал рукою рядом лежащую спутницу, поправлял шинель. Она не шевелилась и не слышала, как уже в глухой час забегали подле эшелона люди с фонарями, закричали: «Все по вагонам!»

Скоро вагон дрогнул, по составу покатались щелчки буферов, и вот он уже покатился в ночь, вдаль, Данила успел еще подумать: «Ну, теперь-то ее уж никто не высадит». И уснул наутренним, крепким, молодым сном.

* * *

Просыпалась солдатня поздно, неохотно, уже где-то по-за Белоруссией. Марина, проснувшись, полежала еще, прислушиваясь к себе и к миру, прикинула, сколько может терпеть, решила, что хоть до смерти будет терпеть, посмотрела на солдатика, рядом мирно спящего, соломка приклеилась к углу его рта, смоченного слюной сладкого сна. Она двумя пальчиками, привычными к пинцету, убрала соломку с припухлых губ Данилы, проелозив на заднице ко краю нар, спустила ноги, одернула мятую юбку и сказала:

– Здравствуйте, братики солдатники.

– Здра-а, – не сразу и разбродно ответили ей от печки, вокруг нее уже несколько курцов горбились накинутыми на плечи телогрейками и бушлатами. Остальной народ, умаянный танцами и поспешно утешенный по кустам и за развалинами построек, спал. Старший вагона, сержант Оноприйчук, забайкальский сибиряк, как он себя называл, переселенец тридцатых годов с Украины в дальний край, был вял, истомлен, непривычно малоразговорчив, он вечер перетанцевал со всеми доступными ему дамами, всем им наговорил кучу комплиментов, всех повеселил гарными анекдотами, в результате ни на одной напарнице не сосредоточил нацеленного внимания и остался, как говорится, на бобах. Вот и дремал, зажав сигарку в кулаке, иль уж добирал сна на утре. Заслышав женский голос, старшой подскочил, будто его позвала одна из вчерашних напарниц издали, уронил телогрейку на пол, остался в кальсонах и, зажав накрест лапищами беспризорно открытую ширинку, попятился под навес нар, где начал звенеть пряжкой командирского ремня, натягивая на себя обмундирование.

Явился на свет, зачесывая расческой волосы набок, при двух рядах наград на гимнастерке и, пристально глянув на дивчину, мятую, патлатую со сна, поинтересовался:

– Як, звиняюсь, до пиру, то есть сюда, попали?

– С Даней! Такая неожиданность, сию, сию, поезда жду, жду – и вдруг является, будто свыше посланный, мой двоюродный братец. Я его еще днем увидела, когда он за кипятком приходил, но, думаю, наваждение это, уж слишком счастливая неожиданность...

– Кем была на войне-то, трещотка? – спросил пожилой усатый сержант.

– Да не трещотка я, не трещотка, это я с радости разговорилась. А на войне я не была, считайте, что я в эвакогоспитале медсестрой работала, могу и документы показать. – И метнулась в угол, к вещмешку, хотя все необходимые в дороге документы были у нее застегнуты на пуговку и на булавку изнутри в нагрудном кармане гимнастерки. А метнулась она в глубь вагона затем, чтоб тряхнуть дрыхнущего Данилу и почти в панике ему шепнуть: – Допрос начался. Помогай!..

Помощи не потребовалось. Только спрыгнула она с нар, только протянула документы сержанту, как со всех сторон послышалось:

– Медсестра, да еще госпитальная, – это нам тебя бог послал. У нас тут и хворые, и раненые есть, вон у Ивана свищ на ране открылся. Эй, Иван, слезавай давай с нар, перьва помощь припела.

И кто-то зашевелился наверху, посыпалась вниз в щели меж плах перетертая солома.

– Я счас, счас. У меня и бинт, и йод, и спиртику флакончик есть. Мне б только руки помыть.

Сей же момент ей полили на руки, она попутно и лицо умыла, голову прибрала, волосы под косынку упрятала, на ходу, посреди вагона, соорудила медпункт, поставив ящик на попу, прикрыла его чьим-то пустым вещмешком, еще и белой тряпочкой застелила.

Данила смотрел на все это сверху и от удивления только и мог сказать, да и то про себя: «Вот эт-то да-а!»

Всех больных и в помощи нуждающихся солдат Марина сноровисто и быстро обиходила, будто и не замечая Данилу, с открытым ртом пеньком торчащего на нарах, и, когда закончила, присела на ящик, положила руки на колени и выдохнула:

– Ну вот, слава богу. – И добавила, помедлив: – Надо, ребята, в вагоне прибраться, чего ж вы, как поросята, в объёды возитесь, солому надо сменить, перестелиться, тут и раны засорить запросто можно, и обовшиветь, а вы небось к невестам, к женам едете.

Завтракали они с Данилой из одного котелка и чай пили из него же; в полдень на какой-то непредвиденной остановке ребята натеребили из скирды соломы, перетрясли все манатки, постелились вновь. Старший вагона Оноприйчук объяснил правила поведения на ближайшее время:

– Справу робить тики ноччу або когда Мариночка заснет, матэрыться з воздержанием, поганого анекдоту не травить и, главное, хлопцы, само главно, мовчок, по ишейлону ни-ни, понабегить оглоедов и раненых, и контуженых, и усяких до сестры лэчыться. Мовчок, и усе!

– А как же она?..

– Будемо сторожить, лесу або кустов нэ будэ, посадимо ии по одну сторону вагона, самы по другу, як-нибудь, хлопцы, поделикатней, уж больно дивчина-то...

– Да мы чё уж, чурки совсем, чё ли? Мы понимаем...

Не всегда ловко и деликатно получалось у хлопцев, не всегда они и в выражениях сдерживались, привыкшие вольно и дико жить по окопам, ночами пальбу, даже артподготовку открывали, но самое страшное – от нечего делать с расспросами приставали, иные и ухаживать пробовали, домой звать.

От великого говоруна Данилы она и добилась-то всего, что едут они в какой-то неведомый город Чуфырино и должны высадиться на станции Чуфырино, по расчетам – глухой ночью. Марине и в голову не приходило, что Данила придумал это название, что едут они в никуда, ни к кому, и заметила она – он робко пытается от нее избавиться, сбить ее куда-нибудь.

* * *

В Москву их эшелон не пустили. Загнали куда-то на обводную станцию со множеством переплетенных меж собой путей. Здесь уже куковало много эшелонов с демобилизованными победителями. Никому и нигде они не были нужны, везде были помехой и лишней докукой.

Стояли долго. На станции той, промышленной, с заводскими трубами и черными тополями в отдалении, царили пьянство, драки, грабежи, воровство. И шныряли вербовщики по вагонам, созывали на восстановление народного хозяйства, на новостройки, на рыбалку и на золотые прииски, а также в ремесленные училища и в таежные поисковые экспедиции. Обещали сразу же подъемные деньги и пересадить на другой поезд.

– Однако я на рыбу завербуюсь, на Камчатку рвану, – заявил Данила.

– А как же я? Как же Чуфырино?

– Чуфырино подождет. А тебе место всюду есть, ты – медсестра. Смотри, вон в вагоне сразу хозяйкой сделалась. – И скрытая обида просквозила в голосе Данилы: ни профессии у него нет, ни образования путного, одни мечты и надежды.

За время пути, хоть и немного, они вызнали друг о друге. Да и признавать особо нечего было – биографии они не накопили, война – какая это биография? Пустое время, понапрасну для жизни потраченное. Марина на медсестру и без войны выучилась. Родилась она – по документам – в Ленинграде, была еще крошечной, когда ее родителей, папу, затем и маму, куда-то завербовали и увезли, более о них ни слуху и ни духу не было. Папина сестра какое-то время держала девочку в виду, собиралась со временем, когда разрешат, забрать ее из детского спецприемника. Но началась война, тетя попала в блокаду, видимо, там и погибла. На письма,

которые посылала Марина в Ленинград, никто не откликнулся, или они возвращались с пометкой: «Адресат не значится».

И оставалось ей одно – вцепиться в Данилу, этого нечаянного сродного братца, и никуда его не отпускать. А как его не отпускать, чем закрепить? Оставалось только одно, давно испытанное средство, она о нем по природе, ей данной, и от госпитальных подруг знала. Солдат всем эшелонном сгоняли в баню, двое суток они там поочередно мылись. Марина расспросила Данилу и ребят, узнала, где находится гражданская баня, оказалось, там же, в том же помещении заводской бани есть и женское отделение.

Вечерком потихонечку, спрятав узелок под шинелью, она утянулась в глубь мрачной и шумной станции, нашла баню еще и получше заводской, железнодорожную, вымылась хорошо, сменила белье, даже постирушки мало-мальские сделала и тихо вернулась в вагон, где все его обитатели уже крепко спали. Она забралась на свое место, почувствовала мягкую подстилку на соломе, догадалась, что это бушлат Данилы, спихала его из-под себя в голова, незаметно застелила портянками солому и с глубоким вздохом водрузилась на постель.

– Ты чего возишься-то? Помыться удалось?

– Удалось, удалось, об этом не беспокойся.

– А об чем же мне беспокоиться?

– Я знаю о чем, слышу, как ты беспокойно спишь. Хоть и теленок, а все молодой, живой человек.

Шепчась, она все плотнее придвигалась к нему и жарко дышала в ухо. Потом вдруг начала его целовать и выдыхивать прерывистым шепотом: «Данечка-Данюшечка! Данечка-Данюшечка!.. Чудушко мое!..»

Как они спарились, Данила и не помнил, услышал только, как Марина простонала сквозь стиснутые зубы и сразу вроде как опала завядшим листом с дерева. Зато уж на всю жизнь явственно запало в голову то, что происходило потом, в темноте вагона.

Марина возилась у стены вагона, что-то долго вытирала, затем еще дольше натягивала на себя не просохшие после стирки трусы, наконец отрешенно вздохнула и всхлипнула:

– Вот и все... а ты, дура, боялась, как говорится в народе.

Данила притаился, молчал, но скоро понимать начал, что молчать в такое время неудобно, и, как многие мужчины при подобных обстоятельствах, принялся неуклюже каяться:

– Прости! Я ж не знал, что ты такая... – Помолчал, лицо ее пощупал, оно было в слезах. – Войну прошла, огни и воды, и вот...

Она вдруг встрепенулась, бесцеремонно пощупала его промежность:

– Тюха! Застирывать надо. И брюки, и кальсоны.

– Зачем?

– Зачем? Зачем? Разболокайся, говорю...

В тесноте, неумело ворочаясь, он начал снимать с себя, что велели. Марина помогала ему. Вскоре зачурлюкала вода в кране дежурного бачка для питьевой воды, взбрыкивала пряжка ремня, пощелкивали о железо пуговицы, и вот злоумышленница с узлом в руках вскарабкалась на нары, долго пристраивала брюки в открытое окошко, цепляла их за крючки люка, чтоб обдувало.

– Кальсоны наденешь мокрые. На штаны солдаты подумают, может, описался боец, кальсоны – это, брат, улика.

Они прибрались и теперь уж лежали, прижавшись друг к другу под шинелью.

– Прости еще раз, – прошептал он еле слышно.

– Да не переживай ты, Даня, не казись, поздно или рано это неизбежно произошло бы. – И долго, долго молчала, не шевелилась и как-то слишком умудренно и устало добавила: – Да теперь и не зашьешь обратно, даже операционным кетгуттом, пластырем не заклеишь. Конечно,

не в такой бы постели, не в этом логове, но не одни мы нынче такие бесприютные. Спи! Спи давай. – И она стала, как ребенка, прихлопывать его по шинели, баюкать вроде.

– Выходит, мы теперь уж муж и жена, – засыпая, прошлепал своими детски пухлыми губами Данила.

– Выходит, – подтвердила она и поцеловала его в щеку, в преддверии бороды обметанную пухом.

– А кетгут – это чё?

– Багор через плечо, спи.

* * *

Эшелон помаленьку разбрёдался, кто уходил на московские, на подмосковные станции и за взятки, за трофейное барахлишко пристраивался в пассажирские поезда, кто взбирался на крыши вагонов и, привязав себя к трубам вентиляции, к ступеням, с комфортом дул домой или куда воину хотелось. Укоротившийся на три вагона эшелон из-под Кенигсберга объединили с другим укоротившимся эшелонном и загнали на станцию Ярославль, где было и без того тесно. Ярославцы погнали эшелон дальше, и закружился он по каким-то снулым, не иначе как еще девятого века, вологодско-костромским станциям без надзору и призору, пока не выскочил на станцию Буй.

Ну, на крупном железнодорожном узле под таким хлестким названием шуток не любили, анархий не воспринимали. Здесь военный комендант слепому, почти безнадзорному движению эшелонов с фронта решил придать хоть какой-нибудь порядок и хоть как-то ввести их в поток нормального движения. Эшелон укоротился еще раз, и значительно укоротился, затрахтел вперед на восток, и, хоть не ходко и не в лад с пассажирскими поездами тархтел, дело кончилось тем, что в глухой час ночи Марина растолкала Данилу и в панике зашлась громким шепотом:

– Чуфырино! Слышь, Данила, Чуфырино! Да проснись же ты, неужто за дорогу не выспался? – И она вытолкала его из обжитого, родным сделавшегося товарного вагона. Несколько давних спутников проснулись, кто-то, скорее всего Оноприйчук, скинул вниз котелок, старую шинель, бушлат, на котором они спали, и холщовый мешок с булкой хлеба, с десятком пачек концентратов и парой банок американской тушенки.

Они сидели на перроне, ошеломленные вдруг наступившей разлукой со спутниками, сделавшимися, считай, друзьями, и, глядя вслед очень скоро отбывшему эшелону, помахали ему дружно. Данила несколько раз про себя, затем вслух прочел электричеством высвеченную надпись над перроном станции:

– Чуфырино. Чуфырино. И правда, что «Чуфырино» написано.

Растревоженная до слез разлукой с добрыми спутниками, Марина вдруг почувствовала накатывающую на сердце волну новой, еще более гулкой тревоги.

– Так ты что, Даня, не узнаешь родную-то станцию?

– Какая она мне родная, – после долгого молчания виновато молвил Данила. – Знать, видел я ее название где-то в расписании, мне думалось, выдумал, а она – вот она, и в самом деле есть в наличности.

– О господи, – вздохнула Марина, – ну, пойдем в вокзал. Стало быть, это наша судьба. А может, и дальше поедем, на тую хоть Камчатку, что ли, рыбу ловить. Чудушко ты мое неразумное.

С тех пор вот, с нечаянно молвленного в свадебную ночь слова, и пошло – чудушко ты мое, чудушко ты мое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.